

Я очень много читал. Мне было двенадцать, когда я стал собирать библиотеку. Мама давала мне некоторую сумму денег, чтоб купить лепешек. Но я никогда этих лепешек не ел, вкуса их не знаю. Я покупал книги — с рук. И в основном те, которые никто не хотел покупать, потому что они слишком умные. Одна из этих книг, академика Опарина, рассказывала о происхождении жизни на Земле. Я ее прочел три раза, досконально, перескакивая через химические формулы, потому что не знал, как с ними разобраться. Но и без этого я вполне освоил, что там со Вселенной произошло. И тогда же я сказал маме (помню, что я задираю еще голову, поскольку был мал ростом): «Знаешь, мама, я принял решение,

что придется выбирать между наукой и религией». (Хотя я еще молился тогда, как дед научил.) Ея это рассмешило. Отсмеявшись, она спросила: «Ну что, каково твое окончательное заключение?» Я ответил: «По-видимому, приходится выбирать науку».

Казалось, что жизнь делается спокойнее. И вдруг отец вернулся с работы, и лицо у него было такое же, как после возвращения из лагеря. Он отмалчивался полчаса, после чего сказал мне, что ему на работу позвонили из НКВД и вызвали его. Он боялся; он нес в себе этот страх перед всемогущими чекистами до конца жизни. Но на завтра он явился в НКВД, конечно. Оказалось, что его хотят допросить как свидетеля по делу Гроссмана, польского журналиста из Варшавы,

Александр
Архангельский

серия
«счастливая жизнь»

НЕСОГЛАСНЫЙ ТЕОДОР

Издатель
Ильянн Цукерман

История жизни Теодора Шанина,
рассказанная им самим

— Подпишите.

После чего был суд, закрытый. Я сидел на лестнице и ждал, что произойдет. Мы серьезно думали о возможности, что отца уже не выпустят. Не донес властям о контрреволюционной пропаганде. А статья, повторюсь, пятьдесят восьмая. В конце отец вышел из зала суда, без охраны, свободный. И рассказал, что произошло.

Гроссману дали защитницу, которую отец называл комсомолкой, потому что она была очень молодой, а также абсолютно преданной режиму. Судья вытащил бумажку и спросил Гроссмана:

— Вы подписали то-то и то-то, подпись ваша?

Тот подтвердил.

Тогда эта адвокат-комсомолка встала, повернулась к Гроссману, сказала:

— Говорите, как все было!

Гроссман молчал. Она — кулаком в стол.

— Я вам сказала — говорите! Вы обязаны говорить.

И Гроссман сказал:

— Все неправда, меня били.

Скандал получился зверский.

Прокурор вскочил:

— Требую не вписывать это в протокол.

Адвокатша — к нему:

— Вы что, законов не знаете? Обязаны вписать это в протокол.

И крик, шум. Судьи чуть не спрятались под стол, потому что было ясно: им попадет. В конце концов председатель суда промямлил:

— Откладывается заседание.

Отца отпустили. Гроссмана, конечно, нет. Его осудили позже, через месяц примерно, тройкой — и не за контрреволюционную пропаганду, а за то, что он годами раньше бежал из спецпереселения. Мы решили на семейном совете (мне уже разрешали быть его частью), что отца надо немедленно убрать из Самарканда.

Но чтоб выехать из Самарканда в Вильно, нужно было особое разрешение. И тут снова помогли курсы кройки и шитья. Клиентами моей матери, которым она шила платья, были в основном жены эвакуированных ленинградских профессоров. Это были какие-то совершенно другие женщины. Необыкновенно элегантные — посередине всеобщей беды. Говорящие красивым русским языком. Интеллигенция ленинградская высокого пошиба. Среди них была одна женщина, которая не принадлежала вполне к этой группе, ее звали Хрущева. Она говорила, что ее брат — высокий чиновник. Я до сих пор не знаю, была ли это сестра Никиты Сергеевича. Во всяком случае, она была хорошей клиенткой и влиятельной женщиной; мама к ней обратилась за помощью и через два дня получила бумагу.

который после спецпоселения в Коми осел в Самарканде, где работал ночным сторожем на каком-то заводе. Я довольно часто ходил вместе с отцом к нему на этот завод. Взрослые играли в шахматы и говорили на всякие темы, я с интересом слушал.

Выяснилось, что Гроссман арестован за контрреволюционную пропаганду, статья пятьдесят восемь. Отца спрашивают: «Что он вам говорил контрреволюционного?» Для начала отец ответил, что ничего такого не помнит. Его жали-жали; не выжав ответа, сказали: «Хорошо, идите домой, возвращайтесь через неделю, поговорим опять, надеемся, что вы припомните. Но принесите с собой белье».

Через неделю он пришел с бельем. Его отпустили снова. И опять на неделю. После чего следователь вдруг сказал отцу: «Так ничего и не помните? Хорошо же; вызвать заключенного Гроссмана». Ввели Гроссмана. Глаза бегают. Голод написан на лице, ясно, что есть не дают.

— Гроссман, вы говорили этому человеку то-то, то-то, то-то? — спрашивает следователь.

Гроссман подтверждает:

— Да.

Следователь приказывает:

— Вывести заключенного. — И обращается к отцу: — Теперь помните?

— Теперь помню.

Отец сел на ближайший поезд, куда сумел достать билет, — и исчез. Ни письма, ничего. Мы даже думали, что его снова взяли. А новости, которые поступили из Вильно, были ужасными. Мы знали, что в Вильно не осталось евреев.

Через полгода, быть может, немногим меньше, я был дома, делая уроки, когда в комнату вошел советский солдат. Классический. Ушанка с красной звездой. Шинель. Деревянный чемодан, которые тогда очень часто носили с собой солдаты. Все как надо. И говорит мне по-русски:

— Я ишу мадам Зайдшнур.

Я вздрогнул от слова *мадам* и сказал:

— Мама нет дома, но она будет через два часа. Хотите подождать?

— Да, хочу. — Он вообще был немногословен.

Сел. Вытащил газету и стал читать.

— Хотите чаю?

— Да.

Я налил чай. Этим наше общение ограничилось.

Когда вернулась мама, она его спросила:

— А кто вы?

Он говорит:

— Меня зовут Иегуда. Вы знаете почерк вашего мужа?

— Знаю.

Он вытащил из сапога письмо отца. Подал ей.

Она прочтала. Отец сообщал, что он находится в Лодзи, в Польше, и с ним все в порядке. И предлагал ехать к нему. А человек, который привезет это письмо, даст нам денег на поездку.

Мама повела себя осторожно, ничего не ответила; кто мог поручиться, что это не провокация, что отца не вынудили написать такое письмо. Иегуда тоже ничего не стал доказывать, просто попросил разрешения переночевать. Мама постелила ему на полу. Назавтра утром он сказал:

— Вы относитесь ко мне с недоверием, что нормально. Но я вам нечто покажу. Быть может, это снимет частично ваше недоверие. У вас найдется топорик?

Я принес ему топорик. Иегуда подцепил им дно своего чемодана, и оттуда посыпались золотые монеты. Он сложил их в кучу и сказал:

— Я приехал, чтобы выкупить из тюрьмы нескольких наших товарищей.

Иегуда оставался с нами еще четыре дня. Уезжал, возвращался. Я выполнял его мелкие поручения, как то: пойти к тому и к такому и спросить, здоровы ли дети. То есть передать месседж. Он произвел на меня сильное впечатление. Абсолютного, неправдоподобного спокойствия. Лицо как стена. И при этом какая-то особая улыбка, которую я не забуду. Он улыбался, когда отказывался отвечать. О себе он ничего

не рассказывал, и лишь позже, когда мы встретились уже в Польше, я узнал, что он был членом сионистской организации ревизионистов. То есть крайне правых, с которыми позже я политически воевал. Они были очень твердыми, верными своим принципам, и среди них было немало настоящих патриотов.

Прощаясь, он выдал маме деньги в рублях — достаточные, чтобы доехать до Вильно и еще некоторое время остаться там. И сказал:

— Когда придете в Вильно, найдите раввина. Там только один раввин есть. Он молодой, не пугайтесь; он все же настоящий раввин. Он вам скажет, как дальше действовать.

Мы сказали спасибо — и сразу уехали.

В Вильно начали с поисков этого раввина. Нам сказали: его нет, он уехал на несколько дней. Приходим в назначенный срок: его нет, уехал на несколько дней. И так продолжалось примерно месяц. Тем временем мама искала мою сестру. Надежда все-таки еще была. Редко-редко, но спастись удавалось.

Мы жили у еврейской семьи, история которой выражает те времена. Первый муж хозяйки был расстрелян немцами, и она сама прошла через расстрел, но ей, можно сказать, повезло: ее только ранило и залило кровью мужа, так что, когда достреливали живых, ее не тронули, приняли за убитую. После чего она пешком добралась до Вильно. Услышав это, я подпрыгнул: «Вы что, с ума сошли? Возвращаться в гетто в таких условиях!» На что она мне ответила (что оказалось очень важно для моего воспитания): «А куда я могла идти?»

Ее отправили в какой-то лагерь в Латвии, где шили униформы для немцев. После освобождения города Красной армией она опять приехала в Вильно. Здесь она встретила своего нового мужа, которому, в свою очередь, удалось удраить из гетто, спрятаться и продержаться до ухода немцев. А когда начались бои за город, в которых участвовала не только Красная Армия, но и польские, как и еврейские, партизаны, он заявился в один из командных пунктов.

— Ты кто?

— Я еврей.

— Ну и иди отсюда.

Он растерялся, не знал, что делать. Тогда к нему подошел один из офицеров и на прекрасном виленском идише, который нельзя спутать ни с каким другим выговором, сказал ему:

— Убирайся к черту, а то тебя расстреляют, просто потому, что не знают, что с тобой делать.

И он убрался. Через три дня закончились бои. Он встретился далее со своей будущей женой. И они жили тем, что продавали мебель убитых. Ея осталось очень много.

Выслушав его историю, я спросил:

— А когда вы уезжаете?

Он удивился:

— Куда?

Я ответил:

— Ну, в Польшу, конечно.

По тогдашним законам, если ты мог доказать свое виленское происхождение, то мог свободно ехать в Польшу.

— Чего я не видел в Польше? Кому нужна эта Польша?

— Оттуда можно ехать дальше.

— Куда?

— В Палестину.

— Еще чего. Человек, который жил под властью евреев, никогда не поедет в Палестину.

Это меня взорвало, но, я должен сказать, многое объяснило и многому научило. Тому, например, что происходило в гетто...

Убедившись, что дед и сестра погибли (мама поговорила со свидетелями, которые видели деда в расстрельной толпе), мы решили, что пора нам выбираться в Лодзь, к отцу. Оставалось доказать, что мы польские граждане — ведь к этому времени у нас снова отобрали польское гражданство и выдали советские паспорта. Моя мама нашла в архивах Виленского

университета свои студенческие документы, в которых было написано: гражданка Речи Посполитой. Всё. Проблема выезда была решена. Но нас мучили два вопроса. Во-первых, что с раввином, во-вторых, что с Иегудой. Особенно с Иегудой: мы чувствовали себя ему обязанными.

С раввином вскоре стало ясно, что дело плохо: где-то через месяц после того, как мы приехали в Вильно, на границе взяли сто десять литовских евреев, не имевших права на выезд. Пять лет каждому. Но Иегуды (мы проверили) среди арестованных не было.

Неизвестность все больше смущала. И уже в Лодзи через отца мы первым делом вышли на организацию Иегуды; там сказали, что ничего о нем не знают, он уехал и пропал с радаров. Но через два дня — стук в дверь, вошел Иегуда. Оказалось, что он узнал об арестах на границе, купил фальшивые документы и под видом цыгана, который догоняет свой табор, приехал в Вильно, а через Вильно в Лодзь. Рассказал, что занимается переброской людей через границу.

Я спросил:

— Но ведь граница закрылась, не так ли?

Улыбка, которую я знал хорошо, — все, что я получил в ответ. Такой человек.